



Поэзия и драма «обычных дней»

Роберт
БАЛАКШИН

Кудрявцев В. В. Поэзия и драма «обычных дней» : Роберт Балакшин / В. В. Кудрявцев // *Кладовые сердца : очерки о писателях-володжанах*. – Вологда, 2011. – С. 137–150.

Иван Иванович, выйдя на пенсию, почувствовал, что вдруг «начал проникать в суть явлений», и неожиданно для себя всерьез задумался о смысле земной жизни: «Как, зачем жить в этом ненормальном, исковерканном мире?».

У него даже появилось несколько своих теорий. Одну он формулировал так: «жить для того, чтобы жить». Но это, размышлял он, есть «жизнь природы, животных, растений. Человек стоит выше этой биологической цепи. Животные не знают своих предков, у них нет истории».

По другой теории «люди живут для того, чтобы оставить свой след на земле? Умирая, они продолжают жить в своих делах, сохраняется память о них».

Эту теорию он тоже поставил под сомнение, потому что «имена людей, оставивших по себе память, при желании можно уместить в одну большую книгу, но никакие книги не вместят имена всех людей, когда-либо увидевших солнце», но не оставивших о себе, к сожалению, ни следа и ни памяти.

Была еще у него и теория «жизни для собственных детей, для государства, для будущих поколений». Последняя теория – для будущих поколений – «вообще низводила человека до уровня навоза на всемирном огороде истории». А кроме того, если для примера взять даже наше порубежное время, то в жизни «не раз случались такие повороты, когда потомки жили хуже, подлей своих предков, когда, поддавшись обману, люди предавали завоеванную в боях славу, а нажитое трудами нескольких поколений богатство спускали за бесценок в погоне за наслаждениями».

Он, будучи человеком основательным и добросовестным, рассматривал даже частные случаи теорий. У теории «следа на земле» им была еще выделена, например, «теория бессмертия человечества». Логика у него здесь была простая: «Умирали люди и государства, но жило человечество. Однако какая была утеха ему, конкретному человеку с его единственной, неповторимой жизнью в этом коллективном, стадном бессмертии?».

В конце концов, он, сам того не ожидая, «дошел своим умом» до самой, по прежним временам, настоящей крамолы и понял, что и «же-

лезные категории единственно верного, и потому всесильного учения (марксизма-ленинизма – В. К.) срабатывают не всегда и не все объясняют».

И потому на поверку у Ивана Ивановича выходило, что «тропинка мысли вела его в тупик. Последовательно-логическая теория смысла жизни не выстраивалась. Как ни крути, получалось, что жизнь бессмысленна».

Хотя сам он, «мыслитель на пенсии», понимая, что «в жизни не все так укладисто просто», пользу и смысл долгой жизни своей по традиции измерял все-таки «добрыми делами» («Иван Иванович – мыслитель на пенсии»).

2

Была своя «философия жизни» и у рабочего человека Михаила Карташова – героя повести «Обычные дни». Это повесть о жизни и судьбе обыкновенного человека, живущего рядом с нами. Человека, который пытается найти в жизни свое место и главное – смысл ее. Это повесть о нашей повседневной жизни, такой каждому из нас знакомой и чаще всего бесцветной и однообразной.

Он жил в Вологде, работал на стройке. Женился рано, но семью не сберег – развелся. Теща по-своему и справедливо осудила обоих:

– Это вы, два дурака, пожили – да в сторону, паренька старухе оставили. Ох, жизнь пошла, ни в чем греха нет!..

К сыну он иногда приезжал, когда в деревне под Тотьмой не было его бывшей жены.

И здесь, именно здесь охватывало его «странное чувство, что он дома, хотя никогда ни изба, ни деревня не были его домом». Он не без удивления ловил себя тогда и на странной мысли: «Неужели, где б ни приткнуться, везде дом?».

Теперь одинокая жизнь Михаила была во внешних ее проявлениях во многом похожа на любую другую жизнь, несложившуюся и беспечную. Работа и пустой дом. Пьяные выходные и случайные женщины. Большая голова и похмельная тоска.

Жизнь «текла тем ровным, равнодушным ходом чередования дней и ночей, праздников и будней, получек и авансов, ходом, который, по его представлению, изменить ничто не могло».

В бригаде женатые мужики осуждали его и пытались образумить. Юра Соломин, например, считал, что Карташов жил «бессмысленной, неосознанной, привычной жизнью, у которого на уме одни приключения».

Карташов не обижался на ребят из бригады и даже не смущался, когда разговор заходил о нем именно в таком контексте. Какой бы его жизнь ни была – «холостяцкой, одинокой, собачьей и неприкаянной» – он любил ее и такую, любил уже «за то, что это была своя, собственная» жизнь.

Он злился не на жизнь, а на самого себя. Сколько раз после очередного загула он просыпался поутру с больной головой и нередко в чужой квартире. Сколько раз он с тоской и горечью сам себе признавался, что жизнь у него и впрямь «скотская, собачья», что вокруг крутятся «не друзья – собутыльники, что нет ни одного настоящего друга и нет никого, кто бы, расставшись с ним, подумал, вспомнил о нем».

Думать думал, но ничего менять в ней не хотел.

Но, в отличие от многих своих сверстников, Михаил о жизни думал постоянно и всерьез. И не только с похмелья. Он чувствовал, что не все в ней складывается ладно и не все идет так, как надо и как хотелось бы. Как поглядишь порой трезво на жизнь земляков да как соприкоснешься с их изломанными судьбами, так и у самого в глазах свет померкнет, да так, что перед всем миром станет стыдно.

С годами Карташов стал все чаще, оглядываясь на прожитые годы, задумываться о времени и о судьбе своего поколения:

«И как же случилось, почему, что из всей компании остался один он? Мастеровитый умелец Гошка пьяным вlepился на мотоцикле во встречный самосвал. У красавца, умницы Володьки ночью остановилось сердце. Ловкач, акробат Левка поплыл с банкой на тот берег за пивом и утонул у всех на глазах на середине реки. Смелычак Колька, перебрал лишка, валялся зимой на улице, отморозил легкое и пожил всего полгода. Силача, острослова Юрку убили в драке, ткнув вилкой в горло. Жив Генка, работает кочегаром... зашел как-то к нему – сидит Гена на тачке, лыка не вяжет, сопли и слюни до колена висят. Но Гена всегда сзади отаптывался, подтягивал шавкой, вперед не лез. И он жив, а тех ребят нет...».

Он еще в детстве, «когда был мальчиком лет восьми и всему верил, думал: хорошо бы все люди были счастливы».

Да, хорошо бы все в жизни устроить так, чтоб «мужья от жен не гуляли, а жены от мужей не вешались, чтобы матери от детей не отказывались, а отцы не ездили украдкой сынишек проведывать... Хорошо бы, но как?».

Но один ли он так жил, и один ли об этом думал: «Но если все так живут, значит, нужно жить не как все. Если верить в жизнь, то только в добрую жизнь. Но что такое – добрая жизнь?».

«Может, о доброй жизни в книжках написано, – мучительно, даже на работе, размышлял Карташов. – Да неужто нет такого человека, кто мог бы сказать ему, что такое добрая жизнь?».

Иной раз, встретив кого-то из одноклассников или приятелей шумной юности, Михаил и на свою жизнь через них смотрел как бы со стороны. Не он один, каждый «надеялся, что случится и с ним что-нибудь хорошее, и вся тусклая, как невымытое окно, жизнь повернется иначе».

И она действительно стала поворачиваться к нему светлой стороной, когда он случайно по осени на уборке картошки в пригородном колхозе познакомился с Лизой, которая работала на кирпичном заводе. Хотя бывает ли что в жизни случайно?

У Михаила философия жизни, «обычных ее дней», до встречи с Лизой была простая:

«...К взрослым ни к кому он не был всей душой. Зачем? Да и нельзя, как привыкнешь. Всей душой – значит, во всем в открытую, а кто ж так живет! Так не бывает. И какой ни есть лучший друг, все равно и он от тебя, и ты от него чего-нибудь скрываешь, таишь про себя. Но она-то может так жить. И посмотришь – не врет, не хитрит.

С Лизой нужно жить доброй жизнью...».

У Лизы, как и у него, была в Вологде маленькая комнатка в деревянном доме с высокими окнами. В те годы таких «задушевных,

неодинаковых домов было полно в Вологде. Теперь их сводили на дрова. Повидал старый дом на своем веку и свадеб, и рождений, и смертей, – всего, чем богата людская жизнь».

При встрече с Михаилом Лизе робко, но счастливо в который уже раз «помечталось о семейной жизни». Она давно для себя решила, что ей, «видно, на роду написано – жить одной», но все же на счастье свое женское надежду не теряла. Сколько их вокруг нас – таких вот несчастных судеб.

Для Михаила у Лизы в комнатке было «хоть и убого по нынешним понятиям, зато привычно и уютно, как дома».

У Михаила было две комнаты в таком же деревянном доме. Его дом тоже «мог бы рассказать, как менялись люди и семьи в его квартирах: въезжали и выезжали, начинали здесь свою жизнь и здесь ее заканчивали, приходили сюда в середине пути и на середине же его уходили, оставляли по себе память и не оставляли. Менялись люди, жили здесь, и, возможно, некоторые из них тоже думали и мечтали о доброй жизни...».

Михаил с Лизой нашли друг друга и, слава Богу, сыграли скромную свадьбу, и с того дня у них «все было ладно, мирно, семейно». Михаил и сам, оказывается, тосковал о такой жизни, искал ее и не сразу поверил в то, что судьба неожиданно улыбнулась ему.

Он вспоминал, но без радости, а порой и с отвращением и свою прежнюю жизнь, к которой в свое время так привык, что никакой другой уже и не представлял. Потому и боялся расстаться с ней или хотя бы «наполовину» разделить ее с новой женщиной. «Да и наполовину ли?».

Теперь же, «глядя на Лизу, хлопотавшую у плиты, глядя на ее нависший выпукло обозначаться живот, думал, что если в самом деле есть счастье, о котором так все любят говорить, то что-то похожее было теперь у него с Лизой. Спокойное, семейное счастье, когда само собой все устроилось так, что живут они друг для друга, в общих заботах и согласии».

После встречи с ней он даже объект свой строительный увидел не как «постылое, надоевшее поле, глину и грязь, ежедневные поездки в автобусе, очереди в столовой, вызовы «на огонек» в контору». Ему вдруг и обычная работа «показалась интересной и красивой». У него даже за себя и за дружную бригаду «в груди что-то вроде гордости шевельнулось».

Для него теперь «аэродром, работа» были не «частью жизни, не определенным куском времени», как ему казалось еще вчера, нет, теперь и работа, и Женя Воронин, и Соломин Юра, все были «самой жизнью», его личной жизнью, и не такой уж по большому счету и бесполезной.

Это вчера он не верил, что «может что-то измениться от думы одного человека». Это вчера, примеряясь ко всему, что «попадалось ему на глаза, о чем он слышал от других людей, о чем разговаривал с Лизой», Михаил еще не знал, что и есть такое добрая жизнь, «не знал, всего лишь чувствовал».

Теперь он не только чувствовал, но и ясно осознавал, радостно и просто, что его жизнь была органично вплетена в «жизнь общую», которая шла и развивалась по своим, веками неизменным законам: «новое становилось старым, и всюду были заводы и люди, дома и

люди, машины и люди, земля и люди». Только теперь для него уже не витала, как вчера, «над всею общей жизнью, как дух над водами», а жила и вершила в нем выстраданно и прочувствованно «мысль о доброй жизни».

После свадьбы с Лизой и рождения Сонечки жизнь «начала новый круг» и обрела для него животворящий смысл, который заключался в том, чтобы просто и деятельно беречь и «любить их».

Тогда-то, обретя этот смысл, она опять как будто заново родилась и укрепились в нем – все та же сокровенная «мысль о доброй жизни», с которой «так и жить теперь ему до смерти».

А после смерти Лизы эта мысль об устройстве мира и смысле жизни обрела уже форму вечного «круга жизни»: «был ребенком, повзрослел, состарился, и надо умереть. Что ж, так устроено. Умерли его отец с матерью, Лиза и много других людей».

Вот они с Сонечкой, возвращаясь с кладбища, остановились на поле, и Михаил, пока дочка спала на подостланном пиджаке, смотрел на небо, на полевые цветы и «думал как-то обо всем сразу. Словно и кошка, и клубника, и Соня, и работа, и это поле ржи, и Лиза – словно все было связано друг с другом, все это было – одно, и обо всем можно было подумать как об одном».

...И даже та дикая и безумная жизнь, которой он жил до встречи с Лизой, тоже была нужна. Все для чего-то нужно. Одно для того, чтобы задуматься над ним, другое, чтоб жить им, а третье...».

3

А «третье», может, и есть самое главное – это дорога, ведущая к храму. Правда, выходит на нее человек не сразу – кто раньше, а кто позже. Другие же вообще до конца жизни не находят ее.

Во второй части повести («Во время оно...») в центре повседневной жизни оказывается старая икона, вокруг которой и разворачиваются все дальнейшие события. Через икону писатель погружает нас в разные эпохи и времена, сопрягает события и судьбы людей прошлого и настоящего и, как рентгеном, просвечивает души наших современников.

Писатель вводит в действие много новых действующих лиц, которые все вместе создают живой образ современного города и представляют духовно-нравственный срез расслоившегося общества.

Карташов и после смерти Лизы, оставшись один с дочкой, не переставал размышлять о «доброй жизни», которая к нему-то не такой уж была и доброй.

Никто не мог ему объяснить, что же это такое – добрая жизнь. И надо было самому, «на четвертом десятке, когда уже впору бы жить ею, допытываться, что же это такое. А может, каждый сам по себе додуматься должен, и скопом, всем сразу, к доброй жизни только тогда и придешь, если каждый думать об этом будет? А может, добрая жизнь отдельно и просто жизнь отдельно? Когда можно – доброй жизнью живешь, а в остальное время – как получится, просто живешь и все...».

Вопросы, вопросы, вопросы.

В последнее время он сошелся с Эдиком Быковым. В молодости гуляли вместе. Жизнь у Эдика не сложилась. После армии на два

года сел в тюрьму. Потом работал по вербовке, бродяжил. Был женат, имел двоих детей (сына и дочь), лишен родительских прав. Дважды лечился в ЛТП. Здоровье подорвал многолетним пьянством. Жил в однокомнатной квартире, которую получил по сносу старого дома во Флотском переулке, пущенного на дрова.

Однажды в рабочий перерыв Эдик рассказал Карташову, как он чудесным образом бросил пить:

«...И видится мне моя мать. Настоящая. Я родной-то матери, Миша, не знаю – подкидыш я. И Татьяны мать помню, но знаю, что моя-то – вот она. Лицо у нее доброе и светится. Радостно мне, что мать увидел, а радость такая, как будто она через тебя лучами проходит. Я даже слезу пустил. Слеза катится по щеке, а мать мне ласково, жалеючи, говорит: «Сынок мой милый, что ж ты с собой делаешь?»

Так, Мишка, я вылечился. Решил – завязываю, в рот больше не возьму...».

Недавно он у себя на кухне случайно обнаружил, что столешница у него – не простая доска, покрытая клеенкой, а старинного письма икона. Теперь она, прислоненная к стене, напоминала «большое, прямоугольное деревянное полотнище, подернутое сухой, цвета мыльных ополосков мутью. За этой мутной коростой виделось, нет, лишь угадывалось какое-то изображение». Несомненно, это была икона. Только никто пока не знал, насколько она ценная и «соответствует ли она горшку с золотом».

Никто не знал, и как она появилась у них дома. А судьба у иконы была драматическая, как и судьбы тысяч людей сразу после революции, и о себе она домочадцам напомнила только сейчас, через семьдесят лет, – ни раньше, ни позже и, конечно же, неслучайно.

В дни богоборчества, когда «народная» власть активно занималась изъятием церковных ценностей, к деду Эдьки, Тимофею Быкову, пришел тайно Алексей Воропанов (он был одним из тех, кто в семнадцатом году «скидывал со здания городской думы двуглавого орла») и, дрожа от страха, спросил:

– Помоги, Тимоша. Помоги, друг...

– Что, Лешенька?

– Ой, Тимофей, Анисья... сегодня церковь-то нашу, Петропавловскую, закрыли... Иконы кучей под дождем лежат. Тимоша, друг родной, пойдем, приборем хоть одну...

Спасенную икону, чтобы скрыть ее и спасти, хозяева наложили на обеденный стол, отодрав от него гвоздодером старую столешницу. В это время все пятеро их детей: старшие сыновья Павел, Степан, Алексей, дочка Катя и младшенький сыночек – Петруша (он единственный придет с войны живым) – мирно спали и ничего не видели. Потому до самой смерти никто и не знал об иконе, спрятанной до лучших времен от «воинственных безбожников».

4

С неожиданным ее обретением жизнь в доме Эдуарда Быкова сразу оживилась и даже приобрела почти драматический характер. К нему зачастили родственники. Сначала муж сводной сестры Игорь Виноградов решил, что икону «из рук упустить нельзя» и надо как

можно скорее забрать ее у «неисправимого хроника», но Эдик выгнал его из квартиры и чуть не спустил с лестницы.

Следом за ним по наущению мужа забежала к Эдику хитрой лисичей и сама Татьяна, его сводная сестрица (Эдку нашел под мостками и усыновил ее отец – Петр Тимофеевич Быков).

У Эдика был «импульсивный характер», и потому Татьяна, смотря по обстоятельствам, «то признавала Эдку за брата, то открещивалась от него». Для нее Эдка «был нагло-развязным хамом, которому на все наплевать, никого и ничего не жалко и не стыдно».

Ей было до тошноты противно в его затхлой квартире с «ободраным диваном и серым тонким, как стелька, засаленным суконным одеялом, с закопченными мятыми кастрюлями, ножами из обломков новочочных полотен».

Ей затрудняла дыхание и вызывала тошноту и рвоту «липучая, стоячая вонь – порождение запущенного, неухоженного жилья, нестираной протухшей одежды, годами не мытых полов, десятков окурков, валявшихся где попало». Какая знакомая по нынешним временам картина.

Татьяна работала бухгалтером в одном из управлений облизполкома и потому вращалась в другом обществе. Она считала себя «современной русской женщиной», родить второго ребенка отказалась наотрез, а мужу так и сказала: «В доску выскребусь, а не рожу...»

Иконы Татьяна видела только на экскурсиях раза два или три в жизни. Она бы и не поехала к брату, если бы ей самой не надо было выпросить у мужа денег на заграничный туристический круиз. Но и у нее разговор с братом не получился.

Ее взаимоотношения с мужем, основанные исключительно на деньгах, характеризует вот этот типичный для них диалог, состоявшийся сразу после ее возвращения от брата:

«– Чего ты орешь, дура? Подавись ты этими деньгами, приду до мной, швырну их тебе в рожу.

– Чего я ору? – тихо, с яростью одержанной победы сказала Татьяна. – Чего я ору? А вот чего! – И узкая ладонь Татьяны, хранившая стойкий аромат французского мыла, вписалась в полнокровную щеку Игоря...».

Единственный их сын Олег, «с детства захваленный и заласканный, привыкнув получать подарки и удовольствия, собирать похвалы и почести, практически ни в чем не встречая отказа», играл в футбол за школу, за спортинтернат, за город, за область, выступал на первенстве республики среди юношей и с мальчишеских лет считался подающим большие надежды.

«Олег, возможно, и стал бы звездой, если б не лень да не юношеское бахвальство. Над собой он работать не хотел: «Какой смысл? – говорил он. – Позовут в высшую лигу или на худой конец в первую лигу, там можно постараться. Попотеть, и на квартиру, и на машину начинаешь, а здесь чего ловить?».

Игорь гордился сыном: «Сын вырос таким, каким мечталось ему», – свободным в суждениях и без всяких комплексов. За словом в карман не лезет.

Сын же, в свою очередь, считал, что у родителей «одни деньги на уме».

Игорь был начальником отдела проектно-сметной конторы. Еще в школе поставил себе цель «во что бы то ни стало достичь успеха в жизни», для этого он «ценой больших и не всегда приятных усилий внедрился в круг местной «золотой» молодежи».

Родную мать они с Татьяной, ожидая трехкомнатную квартиру, вроде как временно «ухлопотали в интернат. Жить без матери привыкли быстро. Шесть лет мать в интернате – стыдно и в то же время, что скрывать, – удобно».

Игорь занимался видеобизнесом. На паях с приятелем, у которого был видеомагнитофон, они показывали порнофильмы. Игорь поставлял кассеты, которыми его снабжал Борис Злотин, делега из Ленинграда.

С Карташовым они были соседями по даче. Для Игоря Михаил был «тупой и с виду ленивый мужик», в котором скрывалась «чудовищная сила». Однажды он помог Игорю копать яму и «за два часа выбрал столько земли, сколько Игорю хватило бы на день».

А икона была нужна Игорю для того, чтобы подарить ее «нужным» по жизни и по бизнесу людям. Джону ли, директору пункта обслуживания автомобилей, «делеге» ли из Ленинграда Борису Злоткину.

5

Зная писателя Роберта Балакшина как человека, любящего Вологду и Отечество, я не сомневался, что на страницах повести через своих героев, исповедующих разные точки зрения на историю России, на традиции народа и современные нравы общества, он обязательно заявит болевые для него темы.

И вот у Игоря и Бориса Злоткина появились их идеологические оппоненты – патриот города Паша из органов охраны памятников истории и культуры и одноклассник Игоря Сергей Уваров.

Для писателя Сергей – герой знаковый. История его жизни – «это обыкновенная история жизни русского человека». Сергей, как и многие его сверстники, да, наверно, и сам Роберт Балакшин, «только к тридцати годам осознал себя русским». Теперь, когда он начал открывать для себя «долгую повесть трудных лет» своего народа, и, почувствовав за своей спиной его неодолимую силу, хотел только одного, «чтобы дети его поняли то, что понял он, не к тридцати пяти годам, а гораздо раньше».

Сергей Уваров был музейщиком в третьем поколении и долгое время жил с родителями в угловой башне музея. Дед его стоял у истоков краеведения в губернии (член-учредитель «Общества изучения Северного края»).

А в Москве, где он закончил престижный вуз, Сергей «в беготне и сутолоке столичной жизни, в смене заграничных отелей и аэропортов обретал и по крупницам собирал самого себя».

Он не забыл, как в годовщину смерти деда отец с матерью пошли на кладбище. То кощунство, невольными свидетелями которого они стали, потрясло их, а отца даже лишило сил. И сегодня, спустя годы, трудно поверить и представить, как «по кладбищу, разворачиваясь на надгробьях, срезая их ножами, изламывая гусеницами, круша памятники, выворачивая из земли с корнем кресты, чадно урча, ползали два бульдозера...».

Отец тогда не выдержал и рухнул прямо на Горбатом мосту. Его разбил паралич. Он выжил, но на ноги уже не встал, нуждаясь в постоянном уходе и присмотре.

Тогда Сергей и вернулся в Вологду, без сожаленья расставшись и с Москвой «златоголовой», и с красивой работой.

Теперь он служил Вологде рядом со знаменитым на всю Россию реставратором Иваном Васильевичем Воиновым. А его в свое время выслали из Ленинграда в Вологду, где, помотавшись по разным углам, он правдами и неправдами пристроился в краеведческий музей. Почти десять лет он «ютился у одной милосердной старухи за печкой на сундуке, а вечерами на кухне в керогазовом, примусном чаду под мат, пьяные песни и похабные частушки на уголке конторки писал то, что впоследствии стало кандидатской диссертацией».

Вот к нему-то через Сергея Уварова и обратился Игорь за консультацией и помощью по поводу найденной иконы.

6

В повести пришло время, чтобы герои ее, живущие в одном городе на рубеже тысячелетий, сошлись бы в непримиримом, но, слава Богу, пока словесном поединке на самые болевые для писателя темы. Читаю их диалоги и будто слышу громкий голос самого Роберта Балакшина и голоса его единомышленников, в которых легко угадываются вполне конкретные и знакомые нам горожане:

«— Что такое – русский? – смял Пашу Игорь. – Я сам – русский, так что из этого? Теперь нет русских и нерусских, есть люди, которые руководят и которыми руководят...»

– Как ты страшно упрощаешь, – сказал Сергей. – Русское – это березки, лапти и клопы. Держава-то мировая от Тихого океана до Карпат не клопами создана.

– Сейчас появился а la russ? – устало сказал Игорь. – Расшитые рубахи, косоворотки, сплошные люли, лады и ладушки, русское – самое хорошее, самое милое и доброе. Тошно. Тош-но... Сережа, Сережа, столько повидал, везде поездил, насмотрелся всего. И ничему там не научился...

– Научился, – вздохнул Сергей. – Научился, вот и приехал домой. Пока мы, как жирафы, вытянув шею, и со слюной у рта смотрим в Западную Европу и Америку, боимся прозевать последний покррой порток и бюстгальтеров, у нас сносят храмы, как стиральной резинкой стирают кладбища, сбивают из икон столы, а потом кричат – посмотрите, у вас же ничего нет! У вас и не было ничего. Вы – скоты. Вы – стадо!..»

А о Паше скажу. Когда на улице Лермонтова по приказу нашего нового мэра ломали старый дом, Паша под клин-бабу встал. Ни у тебя, ни у меня на это духу не хватит...».

По этому вопросу Игорь был единоклубен со своим сыном, который мыслил так же, как и он. Недавно Олег так рассказывал ему о новом тренере:

«Вчера опять лекцию завел – русская история, русская культура, литература. А меня прямо трясет. Молчал бы в тряпочку, думаю, японский телевизор – срок гарантии – двадцать лет, а наш – год. А

джинсы, а рок, а комфорт – откуда? Не стерпел я и говорю: да чего такого русские придумали-то, изобрели? Чего? Лапту, лапти да ЛТП.

– Нет, а хлестко сказано. Так бы и Жванецкому не схохмить, – похотатывая, сказал Игорь. – А тренер что?

– Парни все слегли, а Митя «бе, ме», начал про Жукова, Гагарина, Шолохова мумлять, еще про кого-то, словом, – газету читать, а его никто не слушает...».

Иван Васильевич сразу понял, что Игорь «принадлежит к тому типу людей, которые душу свою ни за кого полагать не расположены».

Сергей тоже сразу перестал общаться с Игорем, как только узнал, что он занимается «порнухой». Но Игорь, обидевшись на Сергея, с надменной запальчивостью просил его, «такого умного», пояснить ему, «низкому», чем же «эта часть земной биомассы под наименованием «русский народ» лучше другой, оставшейся биомассы?..».

У Сергея в голове не укладывалось: «Жить на своей земле и так думать о ней, о своем народе, о тех, кто жил до тебя, – это же самодество какое-то».

Да разве мало среди нас таких людей, как Игорь? Их, к сожалению, становится все больше и больше.

И не о них ли, обсуждая в перекур нравы нынешних горожан, сказала Зинаида Константиновна, приятельница и сослуживица Татьяны:

– С цепи все сорвались, с ума посходили....

Да и чего же другого можно ожидать от молодого поколения, если, по словам отца Ивана, жизнь у молодежи до краев заполнена «футболом, рок-музыкой, развратом, модной одеждой, ритмической гимнастикой, конкурсами красоты. Занимайся чем угодно, но только не думай о себе. Не покой. Не тишина, а постоянное общение, торможение человека. И так проходит жизнь: в обмане, в наркотическом сне, проходит и завершается вечной мукой...

А рядом церковь с проповедью нетленного добра и неугасимой любви, с плодами духа, которые суть – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость. Но церковь за незримой, но высокой и прочной загородкой...».

Это было время, когда, по словам таксиста, подвозившего Татьяну к дому брата, даже и старшее-то поколение прожило жизнь, не заходя в действующий храм:

«– На пенсию скоро, а колокольного звона я ни разу не слышал...».

Такая была жизнь. Ее-то и пытается писатель воссоздать в своих героях и поставить ей свой неутешительный диагноз.

Для большей убедительности и объективности тех или иных оценок и суждений писатель вводит в повесть Ленца, немецкого военного летчика, который в годы войны, попав в плен, долгое время находился в Вологде и потому помнит город во всем его деревянном великолепии.

На экскурсии по музею, кроме Сергея Уварова, его сопровождал городской чиновник.

Сергей потом так рассказал о ней Ивану Васильевичу Воинову. А увидел он и услышал тогда вот что.

Господин Ленц сказал, что «город Вологда после войны чрезвычайно изменился». Чиновник воспринял его слова как похвалу. Он

даже «просиял как юбилейная медаль» и на глазах присутствующих радостно подтвердил:

– Похорошел, изменился...

Господин Ленц выслушал это «похорошел», глянул на чинушу и пояснил: «Во время войны, как ни печально в том признаться, я должен был бомбить ваш город. Уже были готовы карты боевого бомбометания. Однако я вижу, в бомбометании не было необходимости. До войны я изучал архитектуру, градостроительство и скажу вам компетентно: Вологда была образцом, эталоном сочетания древней архитектуры и жилой застройки с окружающей средой. Где сейчас эта гармония? Это хаос, бессмыслица, бред!».

Сергей, вспоминая, как чиновник бледнел и слушал «вражескую агитацию», от себя Воинову добавил:

– У них ведь, Иван Васильевич, у чиновников, Вологда все хорошеет. Церкви ломали – хорошела, тополя спиливали, словно город – это леспромхоз по заготовке дров, – хорошела. Сотни домов на распыл пустили, у театра статую истерички с дудкой поставили – похорошела, берега реки в бетон замуровать хотят – тоже, думают, похорошеет.

– Под прикрытием лозунга «Каждому гражданину – унитаз и ванну!», – согласился Воинов, – древний город уничтожили...».

Это только три примера «идеологического» противостояния, а в повести их много. Кажется, что во второй части повесть такими «диалогами и спорами» даже перегружена, и, приобретя через них публицистическую заостренность, она, на мой взгляд, заметно потеряла в художественности...

7

Зная Роберта Балакшина как православного человека, я предвидел, что среди персонажей и героев его повести непременно должно быть духовное лицо.

Им стал отец Иван, правда, «уже целый год не служивший, потому что провинился перед своим начальством». Это он «уговаривал Эдика не пить».

Михаил, познакомившись со священником, продолжил с ним при активном участии Эдика важный для них разговор о «доброй жизни».

– И как ты добрую жизнь понимаешь? – спросил Иван.

– Я считаю, – сказал Эдька, – надо просто жить по совести.

– Сейчас люди так живут, сколько людей, столько и совестей. Греха теперь для людей ни в чем нет, поэтому, если не попался, так все можно, все добро – и кошку за сарайкой растерзать, и убить кого, и обмануть, и дитя свое в роддоме оставить. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу погубит? Мир проходит, а душа вечна...

Это о. Иван, узнав о худых намерениях Игоря, обратился к Михаилу Карташову с просьбой, зная, что только он может повлиять на Эдуарда:

– Скажи Эдуарду, чтоб он никому икону не отдавал. Попадет она в худые руки, погибнет...

Об этом же он безбоязненно сказал и самому Игорю:

– Оставьте Эдуарда в покое, ему икона нужнее, чем вам. Она явилась ему неспроста...

На что Игорь не сдержался и ударил Ивана по лицу. Такая вот нештучная интрига завязалась вокруг «обретенной иконы», пока реставратор Воинов очищал ее в мастерской от грязи и возвращал к новой жизни.

...А Иван Васильевич на «доске-столешнице» открыл икону Тихвинской Богородицы, написанную добротной в девятнадцатом веке мастеровитым местным иконописцем.

Эдуард перевез ее к себе и пригласил всех, по предложению Ивана Васильевича, на ее «торжественный показ».

Собрались все, но вряд ли кто, кроме отца Ивана, понимал и мог представить, как сердце его поведет себя у иконы, как оно отзовется на нее и о чем заставит задуматься. Ведь сердце так непостоянно, особенно у человека духом слабого и робкого. Оно «в одну минуту может измениться несколько раз к доброму или худому, к вере или к неверию, к простоте или лукавству, к любви и ненависти, к доброжелательству и зависти, к щедрости и скупости, к целомудрию и блуду...» (Иоанн Кронштадтский).

И вот в вымытой и вычищенной комнате Эдуарда, в которой выветрился даже стойкий дух застоявшейся вони, «белая накидка исчезла, и взорам людей явилась икона...

Девственно ясный образ не скрывала отныне грязная, мутно-удушливая пелена, и люди видели Богородицу с младенцем такими, какими предстали они много десятилетий назад духовному взору безвестного иконописца.

Для души православной «этот свет... эта тихая теплота, исходившая от нее, – все говорило о нерушимом покое, возвещало о жертвенной любви, взывало к радушной милости, навевало кротость, учило терпению, наставляло добро, возвышало душу».

Первой на лик Богородицы откликнулась чистая и светлая детская душа:

– Я знаю, – громко шептала Сонечка, схватив за руку Михаила и поднимая радостно светящийся взгляд, – это наша мама, да?..».

Душа Карташова, едва спало с доски белое покрывало, в первое мгновение и не поверила, что перед ним стояла та именно икона, которую он видел до того, как ее, засаленную, отвезли в мастерскую.

Но в глазах мальчика и матери читалось что-то родственное ему и теплое. Карташову даже показалось, что глаза Богородицы были тихо устремлены на него, и как будто насквозь видели они не только все его прошлые дела, но и слышали каждое слово, зарождающееся у него в душе, чувствовали еще не оформившиеся желания и угадывали его тайные помышления.

Надя, шумная соседка Эдика, привыкшая воспитывать сына хлестким ремнем, увидела икону, «присела на корточки, притянула Васю к себе и, вздохнув, поцеловала в висок. Редкая ласка обрадовала Васю, он тоже обнял ее и крепко прижался худеньким тельцем к животу матери».

Зоя, подруга Татьяны (она пришла за компанию с ее мужем Игорем), «сначала равнодушно, тупо поглядывавшая на икону, мало-помалу втягивалась в этот бессловесный диалог с иконой, и

постепенно ее начало заполнять чувство какой-то неясной вины и стыда. Зачем она здесь? Как она может так подло поступать по отношению к Татьяне, которая столько хорошего сделала для нее?».

Даже у Игоря, искренне откликнувшегося на радостные слова Софьи, «промелькнула мысль о какой-то иной жизни». Даже он, взбудораженный чувствами, подумал вдруг о том, что «все, чем он занимается, – это неустанные заботы, как сколотить тысточку-другую. И ради этого приходилось ловчить, хитрить, приноравливаться. Иными словами – быть кем угодно, только не самим собой. А если жить просто – без гонки за деньгами, за модными тряпками, за заграничным ширпотребом, жить твердо и ясно, не поддаваясь никаким соблазнам и искушениям? Но как им не поддаваться, если они – рядом? Вот ведь эти Борька надоумил его заняться порнухой. Впрочем, зачем все сваливать на кого-то, а ты сам-то – что? Ты – свободная личность. «Свободная личность». А в чем я свободен?..».

Борис Злотин тоже был тут. На него никто не обращал и внимания, пока он вальяжно и с вызовом не обошел икону и глубокомысленно не сказал, играя на публику:

– Да, милая вещица. Что-то похоже на семнадцатый век, но не раньше. Вообще-то я должен сказать, что русская икона декоративна, она вся – символ, и можно со всей ответственностью заявить, что западный модернизм вырос из русской иконы..

В среде несведущих людей такие речи обычно производили должное воздействие, а здесь, по его убеждению, стесняться было, кажется, некого.

Однако Бориса ждал жестокий удар. Первым атаковал Паша:

– Вы оставьте, пожалуйста, эти наукообразные бредни при себе. И не смущайте людей..

А потом и Эдька сказал свое слово:

– Слушай, тебе чего, не нравится моя икона? Так вали отсюда, тебя ж никто не звал. Ты кого, Игоряха, привел-то?..

Осадив заезжего гастролера, похожего на тех «прохвостов и прощелыг», которые совсем недавно «шастали по области на грузовике, обчищая пустые избы и обирая доверчивых старух», Паша снова любовался ликом Тихвинской Богоматери. Он смотрел на него и думал о том, что только на тридцатом году своей жизни он и стал с «пиекетом» относиться не только к «древности икон», но и к самому их мистическому образу.

Будучи человеком своего времени, Паша не понимал пока «ни слова, ни значения молитвенного действия, воспринимая религию только внешне, культурно-исторически».

Но, тем не менее, захваченным художественным образом лика, он силится представить и даже почувствовать, что рядом с ним «незримо стоят все, кто когда-либо молился перед ней, – его родичи, земляки, знакомые, близкие и вовсе неизвестные ему люди. И чем древнее была икона, тем плотней, необозримей выстраивался перед нею исторический род».

Сергеем в эти минуты обуревали другие мысли. Он перед иконой «ощутил неполноту чувства русского в себе». Неожиданно и с какой-то светлой надеждой Сергея осветила простая мысль: «Может, съездить в Лавру? Писал же Павел Флоренский, что там Россия ощущается как

целое. И Сергей решил, когда «Лена родит, окрепнет после родов», то они обязательно с детьми съездят к Сергию Радонежскому.

Когда все ушли, Эдуард сел на табуретку перед иконой и как будто растворился в пространстве комнаты, ставшей вдруг такой светлой и просторной.

Он не знал, что в эти минуты по его искреннему желанию происходит сердечное соединение с Богом, о котором в последнее время так часто и так много он расспрашивал отца Ивана.

Он не знал, что сейчас Бог был с ним и не могли уже «ни стены дома, никакие заклепы темниц, ни горы, ни пропасти воспрепятствовать этому соединению. Господь действует как электричество: и тогда тебе делается необыкновенно легко, потому что вдруг разрешается твое бремя греховное, посещает тебя дух сокрушения о грехах, умиления, мира, радости» (Иоанн Кронштадтский).

Эдуард сидел, а «широкие чистые лучи заходящего солнца освещали икону. Эдьке вспомнились отец, мать, одорукий дед Тимофей, ему думалось о жене, о детях, о том человеке, который сделал из иконы стол, о тех многих людях, на которых давно смотрела Богородица своими грустными, жалкучими материнскими глазами.

И верилось: что-то изменилось в жизни, стронулось с мертвой точки в иную, добрую сторону...».

И не только у него одного...

А может ли наша жизнь, «бесцветная и однообразная», стать другой, и при каких условиях она может измениться именно в «добрую сторону»? Может, конечно, может, если и в серых буднях «обычных дней», вроде бы похожих друг на друга, каждый из нас научится улавливать душой и сердцем разлитую в них поэзию вечности и несказанный свет божественной любви...

И вот уже там, как тысячу лет назад, как вчера, – «за рекой, за Фрязиновом, за Андреем Первозванным, над каменными уступами домов, над бескрайним полем, которое для одного мальчика было когда-то сказочным краем земли. Там, над неведомыми могилами, над вольной рекой Сухоной, над суковатой дремучей липой у реки, над скромными деревнями и покосами, – тонко зарозовело небо, и по самому окоему его легко обозначилась фиолетовая дымка.

Дымка, соединявшая начала и концы, проструилась, стала невидимой, а по синему холсту неба, по облачкам, раскиданным там и сям, побежала беззвучная игра света. На смену розовому, легкому, как дыхание, источился зябкий, бледно-капустный цвет, и только занял собой край неба, как неприметно исчез, смытый нарастающей золотистой желтизной. Сменяются небесные краски, и вот взметнулся над горизонтом сноп золотых лучей, и снова торжественно и просто стало всходить солнце...

Как тысячу лет назад, как вчера...».

